



АВТОБИОГРАФИЯ¹

В августе 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца взяли в солдаты и послали на германский фронт.

Забегал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжёлые, кованые железом сапоги.

Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала, залаяла. Самая младшая сестрёнка, Катюшка, так до конца и не поняла, в чём дело. Всё таращила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась:

— Солдат папа! Папа солдат!

Когда пришла минута прощанья — все заплакали. Поняла Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рёв, как будто бы её кипятком ошпарили. Я крепился.

За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушёл на вокзал мой отец.

Помню — вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карболкой и антоновскими яблоками, которых уродилась в тот год неисчислимая сила.

¹ Настоящий вариант автобиографии был впервые опубликован в 1937 году в журнале «Детская литература». Иллюстрация А. Ермолаева. — *Здесь и далее примечания редактора.*

И как раз помню, когда уже отошёл поезд, остановился я на мостике через овраг.

Удивительным цветом горело в тот вечер небо.

Меж стремительных, но тяжело-угрюмых туч над горизонтом блистали величаво-багровые зарева. И казалось, что где-то там, куда скрылся эшелон, за деревней Морозовкой, загоралась иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели, тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вернётесь?

И они вернулись назад через четыре года.

Те, кто не был искалечен, отравлен, засыпан землёй и убит на полях Галиции, в Карпатах, под Трапезундом и под Ригой, — те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Петрограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть.

Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушёл в Красную армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать.

Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил, — это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная армия одна против всего белогвардейского мира.

Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запёкшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное. «Если бы, — бормотал он, — на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте осторожнее! И никогда, никогда... Вот и всё! Нет... не всё. Нет —

всё, товарищи!» И что бы он там ни бормотал, лёжа меж истоптанных огуречных и морковных грядок, мотал головой, шептал, хмурил брови, я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать, чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра, что Колчака прогнали уже за Волгу, что наш часовой не вовремя бросил бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана потёртого защитного френча¹. И в том письме, конечно, всё те же её слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это всё.

Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперёд», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет», — вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили ещё и десять, и двадцать, и сто, и тысячу. Но советская власть жила, живёт, и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.

В Красной армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окончил Киевские командные курсы и тут же, в августе 1919 года, был назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсантов.

Потом я был командиром батальона, командиром сводного отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз, бывало, закутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хоро-

¹ *Френч* — пиджак военного образца.

шо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятами играть в лапту!

Частенько я оступался, срывался, бывало, даже своёвольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одёргивали, но всё это пошло мне только на пользу.

Я любил Красную армию и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы я вдруг крепко заболел. Всё что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дёргались. Долго меня лечили, и наконец в апреле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я был зачислен по должности командира полка — в запас.

С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был ещё мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно всё начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел всё же немало.

Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые, совсем ещё слабые, то останутся «Р. В. С.», «Дальние страны», «Четвёртый блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая чашка».

Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война.

Арк. Гайдар



Р. В. С.¹

I

Кругом было тихо и пусто. Раньше иногда здесь подымался дымок, когда к празднику мужики варили тайком самогонку, но теперь мужики уже перестали прятаться и производство самогонки перенесли прямо в деревню. Раньше сюда забегали ребятишки затем, чтобы побегать, погоняться друг за другом, попрятаться в изломах осевших, полуразрушенных кирпичных сараев.

Здесь было хорошо. Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда для чего-то сено и солому. Но немцев скоро прогнали красные, красных — гайдамаки, гайдамаков — петлюровцы, петлюровцев — ещё кто-то², и осталось сено, наваленное огромными почерневшими копнами.

¹ В настоящем издании даётся полный вариант повести, впервые напечатанный в 1926 году в пермском журнале «Звезда» под названием «Реввоенсовет». Мы даём традиционное название, под каким повесть, переделанная в рассказ, издавалась позднее. Иллюстрации Д. Дубинского.

² В произведении описываются события, происходившие на Украине в годы Гражданской войны (1918–1919).

Но с тех пор как атаман Криволюб, тот самый, у которого жёлто-голубая лента тянулась через папаху, расстрелял здесь четверых москалей и одного еврея, пропала почему-то у ребятишек всякая охота лазить и прятаться посреди заманчивых лабиринтов, и остались одинокими полустгнившие сараи — чёрные, пустые пятна.

Только Димка до сих пор ещё забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь да спокойно жужжали мохнатые шмели по ярко-красным головкам широко раскинувшихся лопухов.

А убитые? Так их ведь давно уже и нет — мужики свалили их в общую яму и забросали землёй. А старый нищий Авдей, тот самый, которого боятся Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок прочный крест и поставил его тихонько над их могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому, потому что об этом попросил его старик.

— Не говори только, милай... серчать будут, а как же без креста?.. Как скотина... нехорошо... тоже люди были, милай...

Димка не сказал, но удивился: во-первых, если хорошие люди, то зачем же их убили, а во-вторых, он сам слышал, как Никифор-староста говорил:

— Туда им, собакам, и дорога...

— По злобе, милай... по злобе, — прошамкал, надевая сумку, старик. — А Никифор, сынок, так и должен был сказать... так и должен... Потому мужик он обстоятельный...

И ушёл Авдей. А Димка долго думал и никак не мог понять, за что «по злобе» и почему «обстоятельный» Никифор должен был называть убитых собаками, а побирушка-старик — хорошими людьми?

И не понял всё-таки Димка, как это убитые одни, а правды над ними две?



В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлёк оттуда две обоймы патронов, шомпол и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на живот и продвигался с величайшей осторожностью, высматривая подробно расположение противника. По счастливой случайности или ещё почему-либо, но только сегодня ему всегда отчаянно везло, он ухитрялся безнаказанно подползать вплотную к воображаемым вражьиим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей и пулемётов, а иногда даже залпами батарей, возвращался в свой стан невредимым.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врбался в самую гущу репейников и чертополоха, которые геройски умирали, но даже под столь бурным натиском не обращались в бегство.

Димка ценит мужество, когда бы оно ни проявлялось, потому он забирает остатки в плен...

Подавши команду «строиться» и «стоять смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— А, каиновы дети, продажные души! Против кого идёте? Против своего брата рабочего и крестьянина... Генералы вам нужны да адмиралы!..

Или:

— Коммунию захотели, стервецы, свободы вам нужно, против законной власти хотите...

Это в зависимости от того, представителя какой армии изображал он в данном случае, так как для разнообразия командовал то одной, то другой по очереди...

Дальше здравый смысл и обычаи тогдашней войны предписывали лучше одеть своих солдат за счёт военнопленных, а потому Димка, условно обозначавший массу войск, облачался в широкие листья лопухов и победоносно шествовал домой.

Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Ёлки-палки! — подумал огорошенный Димка. — Вот теперь мать задаст трёпку... а то, пожалуй, ещё и жрать не даст».

И, спрятав своё оружие, он стремительно и вприпрыжку пустился домой, раздумывая на бегу: «Что бы это такое получше соврать матери?»

Но к величайшему своему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца во

дворе. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана, а Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дёрнул сзади Димку за штанину.

Он обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил Димка и увидел вдруг, что у Шмеля здорово чем-то рассечена верхняя губа...

— Мам... Кто это? — вспыхнув, спросил Димка.

— Ах, отстань! — досадливо ответила та, отвёртываясь. — Что я, присматривалась, что ли?

Но по тому, как мать быстро поняла, о чём он спрашивает, Димка почувствовал, что она говорила неправду.

— Это дядя сапогом дёрнул, — пояснил, оторвавшись, Топ.

— Какой ещё дядя?

— Дядя, серый... он у нас в хате сидит.

— Чтобы он сдох, — с сердцем проговорил Димка, отворив дверь в избу.

На кровати валялся здоровенный детина. Рядом на лавке лежала казённая серая шинель.

— Головень! — присмотревшись, удивлённо воскликнул Димка. — Ты откуда?

— Оттуда, — последовал короткий ответ.

— А ты зачем Шмеля ударил?

— Какого ещё Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает... А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! — сердито ответил Димка и шмыгнул поспешно за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжёлому сапогу.



Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем ещё недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтобы служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вот что! — отметил удовлетворённо Димка. — Надолго?

— Надолго.

— Ты врёшь, Головень! — убеждённо возразил Димка. — Ни у красных, ни у белых, ни у зелёных¹ надолго сейчас не отпускают, потому что война. Ты дезертир, наверно?..

¹ Во время Гражданской войны, помимо Красной и Белой армии, существовала третья сила, состоявшая в основном из вооружённых крестьян, скрывавшихся в лесах (поэтому их и прозвали зелёными).

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее, так что едва не ткнулся головой о стол.

— Зачем ребёнка бьёшь? — вспыхнула на Головня Димкина мать. — Нашёл с кем связываться.

Головень покраснел, его большая круглая голова с оттопыренными ушами, за которую он и получил в деревне кличку, закачалась насмешливо, и он ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... питерское отродье. Дождётесь вы, что я вас назад повыгоню...

Мать как-то сразу съёжилась, осела и выругала глотающего слёзы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо... а то ещё и не так попадёт...

После ужина Димка забился к себе в тёмные сени и улёгся на грудку сена за ящиком, укрывшись материнной поддёвкой. Он долго лежал, не засыпая.

Потом к нему пробрался Шмель и, положив голову на плечо возле шеи, взвизгнул тихонько...

— Что, брат, досталось сегодня, — проговорил сочувственно Димка, — не любит нас с тобой никто... Ни Димку, ни Шмельку... Да... — И он вздохнул огорчённо.

Уже совсем засыпая, он почувствовал, как кто-то подошёл к его постели.

— Димушка, ты не спишь?

— Нет ещё, мам...

Мать помолчала немного, потом проговорила уже значительно мягче, чем днём:

— И чего ты суёшься куда не надо? Знаешь ведь, какой он аспид... Всё сегодня выгнать грозился.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Господи, да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь, сынок. Ведь вокруг вон что делается...

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает. Говорят, что красные. А может, и врут. Разве теперь разберёшь...

Димка согласился, что разобрать действительно трудно, потому что уж на что волостное село близко, а и то не поймёшь, чьё оно теперь. Говорили, что Козолуп его на днях занимал, а что за Козолуп и какого он был цвета, неизвестно — зелёный, должно быть.

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зелёный?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Вот ещё послал Господь наказание. То все были люди как люди, а теперь поди-ка.

И она спросила у Димки, только что вспомнив:

— Слушай-ка, ты богу-то перед сном молишься?..

— Молюсь, молюсь, — поторопился он, натягивая поддёвку на голову, испугавшись, как бы мать не вздумала расспрашивать дальше.

Так оно и выходит.

— Ой, врешь, — недоверчиво говорит мать. — А ну-ка, прочитай «Ангелу-хранителю»...

Димке хочется спать. Димка боится, как бы мать не узнала, что он опять спит со Шмельём, кроме того, он никак не может вспомнить первого слова.

И Димка отвечает сердито:

— Не буду, чего без толку-то...

— Как без толку, дурак?.. — вспыхнула озадаченная мать.

Но Димка и сам видит, что сболтнул лишнее, и отвечает искренне и плаксивым голосом:

— И что это, право... днём сама ругалась, бабка по башке стукнула, Головень по шеем... Ляжешь спать, и тут никакого покоя.

В голосе его чувствуется неподдельная нотка обиды, и смущённая мать оставляет его одного...

В сенцах темно, сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звёздами тёмное небо и краешек светлого месяца.

Димка зарывается глубже, приоткрываясь видеть продолжение интересного, недосмотренного вчера сна, и, засыпая, он чувствует, как приятно греет шею и дышит прикорнувший к нему верный Шмель.

Высоко в синем небе плывут облака, широко по полям играет жёлтыми хлебами тёплый ветер. Лазурно спокоен летний день. Непокойны только люди. Где-то за тёмным лесом протрещали раскатистые пулемёты, где-то за краем горизонта перекликнулись глухо орудия, и куда-то промчался через деревеньку лёгкий кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, пробежал тихонько к поскотине¹, взобрался на одну из жердей невысокой изгороди и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

— Вот где жисть-то!..

— Вырасту, тоже в солдаты пойду, — охваченный воинственным задором и ёрзая молодцевато по забору, решил Марьин Фёдька.

— Справа... по три ма-а-арш!..

— А к кому, к белым либо красным?..

— Нет, — отрицательно махнул головой Фёдька, — в кавалерию.

— Дурак ты, — презрительно выругался Димка...

И пустился объяснять неправильность такого подхода к вопросу. Потому что кавалерия тоже разная бывает.

¹ *Поскотина* — пастбище около деревни, со всех сторон огороженное изгородью.

Федька слушал, хлопая глазами, но, кажется, не особенно понял, потому что спросил под конец:

— А везде ли кавалерия на лошадях?

И когда получил ответ, что везде, то проговорил, успокоившись:

— Ну, тогда всё равно, хоть в какую...

Головень ходил злой как чёрт. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он убирался из избы до тех пор, пока отряд не скрывался из глаз. И Димка решил окончательно, что Головень дезертир.

Сегодня бабка послала Димку отнести Головню на сеновал ломоть хлеба и кусок сала. Димка шмыгнул на задний двор и, вместо того чтобы забираться по лестнице, пробрался с другого конца, через выломанную доску возле курятника.



Подползая к укромному логову, он заметил, что Головень что-то мастерит, сидя к нему спиной.

«Винтовка! — удивился Димка, приглядевшись. — Вот так штука!.. Зачем она ему?»

Головень тщательно протёр затвор, заткнул канал ствола тряпкой и запрятал винтовку под край крыши в сено.

Подождав с минуту, Димка присвистнул. Ему было видно, как Головень сразу вздрогнул и обернулся с испуганным, тревожным выражением лица.

— Ты что, собака, тут лазишь! — крикнул он, разглядев Димку. И пытливо окинул взглядом, как бы желая угадать: видел что-либо сейчас Димка или нет?

— Бабка прислала, — равнодушно ответил Димка, подавая узелок. И добавил обиженно: — Хлеба с салом. А ты чего ещё ругаешься?

Успокоившийся Головень послал его к чёрту, а так как, по мнению Димки, худшего чёрта, чем Головень, быть не могло, то он поспешно шмыгнул вниз по лесенке.

Весь остаток вечера и весь следующий день Димку разбирало острое любопытство посмотреть, что за винтовку принёс с собой Головень — русскую, или немецкую, или ещё какую? А может, там у него есть наган? При этой мысли у Димки даже дух захватило, потому что к наганам и ко всем носящим наганы он проникался невольным уважением.

И Димка вспомнил, как однажды Яшка Федотов повстречал к ночи священника, отца Перламуτρια, возвращавшегося из села после свадьбы, и попросил у него одолжить один из свиных окороков. Но батя пришёл в величайшее изумление от такой странной просьбы и, сказав Яшке что-то душеспасительное, собрался было ехать дальше. Тогда Яшка-вор сделал попытку овладеть окороком помимо всякого разрешения.

— А, яко тать в ноци на мя дерзаешь! — расสวิрепев, возопил отец Перламутрий. И, будучи не обделён от Господа дородством и силою, собирался хватить неразумного и заблудшего человека дрючком по голове. Но тут в темноте тихонько — щёлк! В следующую же минуту отец Перламутрий, нахлёстывая конягу, катил во весь дух, а Яшкавор с окороком хохотал на дороге. Впоследствии он клялся и божился, что, кроме захлопывающейся медной табакерки, у него ничего не было.

Такова была сила и выразительность металлического нагановского языка в то время.

Неудивительно после этого, что с первой же минуты Димка почувствовал сильное и непреодолимое желание побывать на сеновале.

Как раз к тому времени утихло всё кругом. Прогнали красные из волостного села Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало снова в глухой деревеньке, и Головень стал свободно покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями запевал порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху, играя, и когда беспокойно зажужжала мошкара, танцуя кучками, заметив, что Головня дома нет, Димка пробрался на задний двор, твёрдо намереваясь проникнуть на сеновал. Дверка была заперта на замок, но у Димки был свой ход через курятник.

Громко скрипнула отодвигаемая доска, предательски заклокотали потревоженные куры, и, испугавшись произведённого шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было полутемно, душно и тихо. Он пробрался в самый конец за поворотом и принялся шарить по сену под крышей.

Через несколько минут тщательного поиска рука его наткнулась на что-то твёрдое.

«Винтовка, — решил Димка. И подумал с опаской: — Вытащить или нет?..»